



#### IV. ДРУЖБА И ПЕРВОЕ ЧУВСТВО

Второй год пребывания Чернышевского в университете во многом был сходен с первым. Но были и перемены в его быту по возвращении из Саратова: он отделился от Раева. Тот, окончив юридический факультет, получил по протекции место младшего помощника столоначальника и начал медленное, трудное восхождение по ступеням чиновничьей лестницы Пути их расходились.

Чернышевский нашел урок, стал зарабатывать. Он уже мог теперь мечтать, что будет содержать Сашу Пыпина, когда тот поступит в Петербургский университет. Забот и дел прибавилось; урок, кропотливые занятия славянской филологией отнимали у него немало времени, но душевное состояние было гораздо спокойнее: он перестал думать о том, что обременяет родных. Денежные посылки из Саратова приходили теперь реже, и это радовало Чернышевского.

Убеждение его в том, что университет сам по себе не принесет ему большой пользы, окончательно укрепилось. Некоторые лекции он изредка посещал уже не ради самих лекций, а для того, чтобы профессора приглядеться к нему и не придирались потом на экза-

менах. Зато целыми днями просиживал над книгами в Публичной библиотеке и в Румянцевском музее.

Новых знакомств почти не завязывалось. Попржнему Чернышевский встречался чаще всего с Михайловым и Лободовским. Это о них он писал родным: «Некоторые из моих приятелей подвизаются на литературном поприще, на котором скоро, может быть, явлюсь и я (впрочем, это будет зависеть от обстоятельств)»

Первое упоминание о литературных проектах и планах носит еще очень неопределенный характер, но таит уже намек, что известную роль играл тут пример ближайших друзей.

Впрочем, общение с Михайловым вскоре поневоле прервалось, так как, оставшись без средств к существованию, тот в начале 1848 года уехал в Нижний служить писцом в Соляном управлении.

Расположение же к Лободовскому крепло с каждым днем. Несмотря на свою замкнутость и скрытность молодой Чернышевский легко увлекался людьми. Этому очень способствовала склонность его находить хорошее в каждом человеке, та доверчивость, которая свойственна бесхитростным натурам, тайная восторженность еще ни разу не обманувшейся души, юношеская жажда любви и дружбы.

В жизни юноши важен каждый час. Перед ним открываются новые миры. Он перерабатывает в себе разнородные влияния, выходя на путь самостоятельного мышления. Он особенно восприимчив, и неудивительно, что иногда какая-нибудь встреча с новым лицом может надолго предопределить дальнейшее направление его развития.

Юноша не успел накопить знаний, жизненный опыт его невелик и еще не взвешен им самим. Но он ин-

стинктивно тянется к тому, что совпадает в чем-то главным с его наклонностями и понятиями, а они, в свою очередь, изменяются, то отступая перед новыми, то снова вдруг возникая на новой основе и в ином качестве. Его пристрастия могут быстро меняться. Он не успевает свыкнуться со своими взглядами, как жизнь заставляет его пересматривать их, иногда отрекаться и снова искать и искать, пока он не приблизится к более или менее последовательному мировоззрению. В этих колебаниях, переломах, даже в переходах от одной крайности к другой есть своя закономерность, порою, правда, трудно уловимая и не сразу понятная.

Для Чернышевского годы университетского учения, когда изменились все условия его жизни, когда он очутился в обстановке, совершенно не похожей на прежнюю, были очень важным этапом.

Чернышевский меньше, чем кто-либо другой, способен был быстро подчиняться разнородным влияниям, в нем была большая внутренняя цельность и собранность, он умел избирать себе друзей и учителей; осознав цель, он обычно уверенно и упорно шел к ней.

Но прежде чем определились достаточно четко его интересы и взгляды, он тоже должен был пройти полосу юношеских исканий, увлечений окружающими, на которые сам позднее смотрел с улыбкой. Сравнительно краток был этот период его юности, потому что духовное развитие Чернышевского шло гигантскими шагами. Он быстро оставлял позади себя людей, на которых вчера еще смотрел снизу вверх.

Легко понять, что значило для Чернышевского тесное сближение с Лободовским, у которого был уже большой жизненный опыт. После исключения из семинарии Лободовский скитался по России, некоторое

время учился в духовной академии, потом служил, затем снова бродяжничал и вот, наконец, очутился в Петербурге, в университете.

Он был разносторонен, умен, начитан. Он знал философию, историю, литературу, языки, помнил наизусть много стихотворений Лермонтова, Пушкина. Когда бывал в настроении, декламировал их или изображал в лицах смешные сцены из Гоголя. Он и сам писал стихи, в которых слышался, впрочем, голос Кольцова. У него были незаурядные литературные способности. Вскоре после своего прихода в Петербург Лободовский описал свои дорожные впечатления в очерках, которые безуспешно пытался напечатать.

В пору дружбы с Чернышевским он работал над стихотворным переводом «Коринфской невесты» Гёте и мечтал перевести «Фауста». Но удачи ему все как-то не было. Осознавая разрыв между своими способностями и своим положением, Лободовский стал проявлять нетерпение, требовательность к окружающим, легко раздражался. Ему наскучили уроки и спешные переводы ради грошовых заработков. Он предпочитал бедствовать в бездействии, громко жалуюсь на судьбу.

Неудачи, усталость от скитаний делали его характер все более капризным. Утратив упорство, он незаметно для себя привыкал сваливать все на обстоятельства, объяснять свои срывы стечением непреодолимых препятствий. Ему нужен был друг, который верил бы в него, успокаивая этим уязвленную его гордость, проникался бы сочувствием к его неосуществленным замыслам и планам. В университете он и нашел такого друга в лице Чернышевского. Последнему характер Лободовского раскрылся не сразу. Чернышевский долго был убежден, что Лободовский — великий человек

в настоящем смысле этого слова, какая-то высшая натура с сильной и одновременно нежной душой. Только иногда, словно бы предчувствуя неизбежность разочарования в друге, Чернышевский как бы заранее оправдывал свое преувеличенно-восторженное отношение к нему: «Я всегда принимаю людей с первого раза слишком к душе и ставлю их слишком высоко, а потом приходится их сводить с пьедестала, на который сам возводил их».

Когда Лободовский рассказывал, как его изгнали из семинарии за дерзкие выходки на уроках, то Чернышевский невольно вспоминал о своем саратовском друге Левицком.

В семинарии Лободовский всегда и по всем предметам шел первым. Товарищи любили его за находчивость, за постоянную помощь, которую он оказывал им в приготовлении уроков. Наставникам Лободовский вечно надоедал возражениями, указаниями на противоречия; даже самому ректору, читавшему богословие, приходилось из-за этого «сорванца-занозы» тщательно готовиться к лекциям. Наконец какая-то дерзкая выходка Лободовского переполнила чашу терпения начальства, и его исключили из семинарии.

Чем больше узнавал Николай Гаврилович Лободовского, тем сильнее привязывался к нему. Как интересно прошлое Василия Петровича, полное тревог и приключений! Как благородно стремление вчерашнего бурсака выйти в светское звание, чтобы посвятить себя служению плодотворной идее! Сколько препятствий встретил он и, однако, не убоился, не дрогнул, не внял предупреждениям своего отца, что «там, на пути светском», может быть, ждут его «только одни испытания и тернии». Чего стоит длительное тысячеверстное путешествие его пешком до столицы — но-

чевки в лесу, столкновения со станowymi, необычные встречи, опасности, происшествия! Он видел в лицо жизнь бедных и жизнь богачей. Судьба то бросала его в помещичий дом решетитором, то в канцелярию писцом, то снова выводила его на дорогу бездомных скитаний. Как увлекательно рассказывал он о своем заступничестве за крестьянку, у которой на его глазах уводили со двора корову за недоимки, как живо обрисовывал характер попутчика-бродяги, отставного солдата Родиона Кулика, с какою ненавистью говорил Лободовский о высокопоставленных господах, о жирных лабазниках, о крупных и мелких казнокрадах, со-сущих крестьянскую кровь!

Что мог противопоставить Чернышевский такому богатству событий? Мирное житье в родительском доме, незаметный, но на деле неусыпный надзор и заботы о нем со стороны старших, причудливые рассказы бабушки о глубокой старине, приезд в Петербург в сопровождении матушки и, наконец, водворение в квартире под опеку старшего родственника.

Как неуловимо и тонко с самого детства и по сей день обволакивали его родные, предоставляя ему некоторую свободу и вместе с тем стараясь быть в курсе всех его дел, чтобы в любую минуту предупредить первый же неверный его шаг!

Вот и теперь: не успел он отделиться от Раева, не успел вкусить сладость полной самостоятельности, как Саратов уже принял свои меры, в результате которых Николай Гаврилович незаметно должен был очутиться в еще более надежном родственном плену.

Как раз в это время его двоюродная сестра Любовь Котляревская (Любинька) вышла замуж за саратовского чиновника Терсинского. Все клонилось к тому, что молодожены переедут в Петербург и поселятся

в одной квартире с Николаем Гавриловичем. Терсинскому никогда не удалось бы добиться перевода в столицу без помощи сильной руки. Но у Гавриила Ивановича имелись на этот случай влиятельные знакомства: земляк его и товарищ по пензенской семинарии Репинский, достигший вершины бюрократического Олимпа, и саратовец Колумбов — прокурор гражданской палаты в Москве — помогли ему в этом деле.

Николай Гаврилович уже готовился к приезду родственников, задерживавшихся то из-за болезни Любиньки, то из-за распространения холеры, приближавшейся к Петербургу.

Наконец в мае он получил известие, что Терсинские выехали, но теперь ему было вовсе не до них.

Пришла «пора надежд и грусти нежной» — Чернышевский влюбился.

История первой любви Чернышевского связана с браком его друга Лободовского.

В начале 1848 года Лободовский познакомился с дочерью станционного смотрителя и вскоре сделал ей предложение. Но, совершив этот шаг, он тотчас же стал предаваться сомнениям: сумеет ли он полюбить свою будущую жену? Лободовский откровенно расценивал такой брак, как неравный для себя. Его невеста представлялась ему ограниченной и неразвитой девушкой, перевоспитать и образовать которую едва ли удастся. Но вместе с тем он считал себя обязанным жениться на ней. Пусть сам он не будет счастлив с ней, но он приложит все силы, чтобы сделать счастливой ее. Брак явится для него побуждением к деятельности, заставит его покончить с беспечностью, заставит думать о деньгах, о службе, об ученой степени. «Но я не буду, кажется, в состоянии любить ее и разделять ее чувства», — твердил Лободовский много раз

Чернышевскому, которого сделал своим конфиденнтом с самого начала этой истории.

Вскоре состоялась свадьба. Чернышевский был шафером. Надолго запечатлелась в памяти Чернышевского сцена благословения невесты, глубоко растрогавшая его.

Направились в церковь. Коляска, в которой помещился Чернышевский с отцом невесты, тронулась последней. На улицах повсюду еще видны были следы небывалой бури, пронесшейся над Петербургом за несколько дней до того. Им попадались навстречу опрокинутые заборы, опустошенные и обезображенные сады. Они проезжали мимо обломанных и вывороченных деревьев, снесенных будок, столбов, крыш, сараев и разрушенных карнизов домов. Бурей был поврежден Елагин мост и разорван Воскресенский, у которого затонуло девять плашкоутов; она свалила сотни вековых деревьев в парках, на островах, снесла множество крыш, и столица казалась теперь притихшей и еще не опомнившейся.

Свадьбу свою Лободовский описал много лет спустя в «Бытовых очерках», где Чернышевский изображен под фамилией Крушедолин. Крушедолин во время венчания «так был серьезно и безучастно ко всему, происходившему тут, сосредоточен в самом себе, что, наверное, повергал строгому и всестороннему анализу только что прочитанные им последние сочинения, вышедшие в Англии...»

Однако Лободовский ошибся: Крушедолин думал вовсе не об английских книгах.

Впервые увидев Надежду Егоровну, Чернышевский нашел ее совсем не такую, как ожидал найти по отзывам Василия Петровича. Она показалась Чернышевскому красавицей, исполненной благородства и внут-

ренной грации. «Разве такая девушка может быть ограниченной, напротив, во всем ее поведении виден природный ум», — говорил он себе.

«Когда венчали, я все смотрел на них обоих, и она мне казалась лучше и лучше. Проходя мимо меня, она несколько раз смотрела на меня, и каждый взгляд этот необыкновенно радовал — или как это сказать? — меня, — так чувствовал не в голове, а в сердце какую-то полноту, чрезвычайно приятную: мне казалось хорошо, если я буду пользоваться расположением Надежды Егоровны».

Он вернулся домой с сердцем, полным тихой радости, и образ Надежды Егоровны неотступно стоял перед его мысленным взором. Сначала, впрочем, он не мог даже определить, что это за чувство пробудилось в нем. Он стал размышлять, анализировать, взвешивать: «Может быть, это льстит мне мое самолюбие, что молоденькая, милая девушка будет расположена ко мне не так, как, например, любит меня сестра, ведь это будет не по привычке с ее стороны, а значит, будет то, что во мне действительно есть хорошее сердце, что я не эгоист, ничего не внушающий. И кроме того, может быть, я так дик, что для меня имеет особую прелесть необыкновенности быть хорошу, быть откровенну (быть любиму, как брат) с молоденькою, милою, хорошенькою, может быть, если угодно, красавицею; я не знаю, может быть...»

Когда Чернышевский смотрел на себя как бы со стороны, он называл себя росомаром, неповоротливым, диким, нерешительным. И в этом была известная доля правды, если говорить о чисто внешнем поведении. Где ему было набраться той светскости, которая позволяет держаться в любом обществе непринужденно и свободно?

Он так долго «воспитывался в пеленках», что теперь, освободившись от них, не умел ступить шагу без того, чтобы не проверять себя, не следить за собою, не оглядываться на каждый свой поступок. Эта напряженность еще более усиливалась в присутствии женщин; впрочем, он почти и не бывал в их обществе. Между тем приближалось время, когда должна была возникнуть у него потребность любви. Призрак ее, как всегда в таких случаях возникающий в неопределенных очертаниях, уже не раз являлся ему, волновал его. Этот трудный переход к зрелости омрачал его представления о любви, отличавшиеся редкой чистотой.

Итак, хоть простое общение с нею, может быть, разобьет лед, которым скован его необычный характер.

Его мысли о ней были святы, свободны от тайных намерений, но он думал о ней беспрестанно и был счастлив от одного сознания, что чувствует в себе «что-то похожее на понимание сладости любить».

Через день после свадьбы Лободовского Чернышевский начал вести свой дневник, писавшийся стенографической скорописью, по системе, придуманной им самим еще в семинарии. Дневник открывается описанием свадьбы и переживаний, вызванных встречей с Надеждой Егоровной.

Он пытается определить и объяснить свое отношение к Лободовским.

Почему мысль о них господствует над всеми остальными «и сердце постоянно как-то сжато от ожидания»? С ним никогда не случалось ничего похожего. Это не каприз свободного воображения. Он занят делами. Переходные экзамены в самом разгаре. Он читает записи лекции по древней истории. Появились

первые, еще неясные литературные замыслы. Кроме того, он готовится к большой работе у Срезневского.

Но что бы ни делал тогда Чернышевский и чем бы он ни был занят, мысли его, как признавался он самому себе (признавался без преувеличений и даже с какой-то тревогой), постоянно возвращались к Лободовским. Его волновало все: как сложатся их отношения, будет ли правильно понят мужем характер Надежды Егоровны, на какие деньги будут они существовать, сумеет ли достаточно зарабатывать Василий Петрович?

Чернышевский вникал в каждую мелочь их жизни, сразу же принявшей дурной оборот. Он горевал, слушая жалобы Лободовского, мучился при мысли, что такой выдающийся человек, как Василий Петрович, должен страдать от окружающей пошлости и обыденщины, от дрязг и родственных пересудов. Родители Надежды Егоровны подозревают, что зять их таскается по трактирам, следят за ним, открыто порицают за дружбу с мальчишкой Чернышевским.

Николай Гаврилович и прежде, видя нужду своего друга, иногда выручал его. Теперь же он решил ограничить себя самым жестким минимумом расходов, а все остающиеся деньги отдавать Василию Петровичу. Он готов был как угодно бедствовать, лишь бы хоть немного облегчить положение Лободовских. Всякий раз, как получались из дому деньги, он спешил к Лободовским и отдавал Василию Петровичу почти все, оставляя себе лишь три-четыре рубля на самое необходимое.

Ему казалось, что материальный достаток изменил бы отношение Лободовского к жене. Чернышевский часто размышлял, где бы достать денег, чтобы Лободовские зажили, наконец, безбедно.

Встречи друзей были так часты, что иногда они **видались** по несколько раз в течение дня. Они научились понимать друг друга с полуслова и всегда чувствовали потребность делиться мыслями о людях, о книгах, о личной жизни. Но подобно тому, как родные жены Лободовского неприязненно относились к Чернышевскому, так сожители последнего, Терсинские, не очень-то дружелюбно встречали Василия Петровича. Это раздражало обоих, и если в разговоре случалось им касаться обывателей, коптящих небеса и мешающих жить другим, то примеры брались обычно каждым из его родственной сферы.

Совместная жизнь с Терсинскими угнетала Чернышевского. Он чувствовал себя стесненным, чужим в их обществе. Еще осенью 1847 года, когда Чернышевский был в Саратове на каникулах, он уловил оттенок какой-то сладкой пошлости в отношениях молодоженов. Они ласкались, любезничали, ворковали, не обращая внимания на окружающих. Теперь их показные нежности и восторги еще более раздражали Чернышевского. В памяти его всплывала картина из второй главы «Мертвых душ»: «И весьма часто, сидя на диване, вдруг совершенно неизвестно из каких причин один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить соломенную сигарку».

«Маниловы, — решил Чернышевский, — настоящие Маниловы с их пустым и праздным воображением».

Самодовольный сенатский чиновник из вчерашних семинаристов, недавно окончивший духовную академию, был ханжою и отъявленным рутинером. Часы домашнего досуга он проводил или в болтовне с же-

ною о вздоре, или в рассматривании журнальных картинок, или в чтении «слова божия». Он любил поучать, читать наставления с цитатами из Ветхого и Нового завета. Слово «субординация» было для него священным словом; он молился на чины и отличия. Заветной мечтой его было сколотить копейку на черныи день, свой покой и карьеру он ставил выше всего на свете. Для него не существовало иных мнений, кроме тех, что он усвоил на школьной скамье и по службе. В любом споре этот ограниченный педант считал себя неукоснительно правым. К тому же Терсинский был безобразно скуп и расчетлив. «Всех не накормишь», — вздыхая, говорил он по уходе несолоно хлебавших гостей.

Упорно и ревностно проводимая экономия на свечах бесила Чернышевского. Если с наступлением темноты он хотел зажечь свечу, его осторожно и вежливо останавливали: «Что это, ты никак уже хочешь зажигать?» По их понятиям, непременно следовало, по крайней мере, минут двадцать посидеть без огня до наступления кромешной тьмы. Считалось также, что вечерами всем надо сидеть в общей комнате, чтобы обходиться одной свечой. И Чернышевский работал, писал и читал под их маниловские разговоры.

Он с самого начала не сумел определить отношения с Терсинскими, обособиться от них, поставить себя с ними должным образом. Он сразу же во многом стеснил себя своей излишней деликатностью, неумением дать отпор без явного вызова с противной стороны и потом уже не решался разорвать эти узы, предпочитая размышлять о том, как бы незаметно выпутаться из них.

В быту этому великому характеру нужна была какая-то степень накала, чтобы действовать затем с хо-

лодной непреклонностью. А иначе он считал за лучшее отмалчиваться, таить про себя недовольство, уклоняться от объяснений с теми, кто не понимал его.

Много раз это скрытое раздражение против Терсинских, о котором они, может быть, и не подозревали, вот-вот готово было прорваться наружу; он жил тогда в напряженном ожидании вызова и схватки, но потом опять всё как-то незаметно рассасывалось. Ему казалось, что они игнорируют его, пренебрегают им. Повелительный тон, каким Терсинский однажды сказал ему: «Принесите свечу!», взволновал его и едва не толкнул на резкое объяснение. Но он молча выполнил приказание, не успев собраться с духом, чтоб отчитать Терсинского за неделикатность. Внутренняя пустота Терсинских, отсутствие у них духовных интересов, мелочность их суждений, пересуды и сплетни, снисходительность к себе и строгость к другим, постоянные прения о пустяках — все вызывало у Чернышевского отвращение. Но сначала он даже стыдился сознаться себе в этом, потому что еще с молоком матери ему передалось чувство уважения к понятиям о родстве. Временами ему было больно за сестру, и он жалел ее, когда видел, что она смутно сознает свое полное подчинение мужу.

Тесное и долгое соприкосновение с этим душным мирком оттачивало его ненависть к беспробудному обывательскому эгоизму. Оно раскрыло ему глаза не только на личную ограниченность Терсинских, но и на те устои и условия, которые порождали ее и, в свою очередь, питались и усиливались жизнью несметного числа терсинских. Оно пробудило в нем возмущение авторитетами, которым здесь поклонялись, лживой моралью, за которой крылось поругание человеческого достоинства, оно впервые подвело его к теме, которую

он потом, через полтора десятка лет, находясь в заключении, воплотил в романе «Что делать?». Эта тема рождалась тут, в разговорах с ними, в спорах с Иваном Григорьевичем Терсинским, когда Чернышевский горячо доказывал свойственнику, что женщина в современных условиях является жертвой семейного деспотизма, рабыней мужа, отторгнутой от общественной жизни. В дневнике Чернышевского этого периода есть запись: «Он (Терсинский) не понимает этого угнетения, которое нельзя показать пальцем перед судом, но которое ясно в каждом слове и движении сочетанных браком».

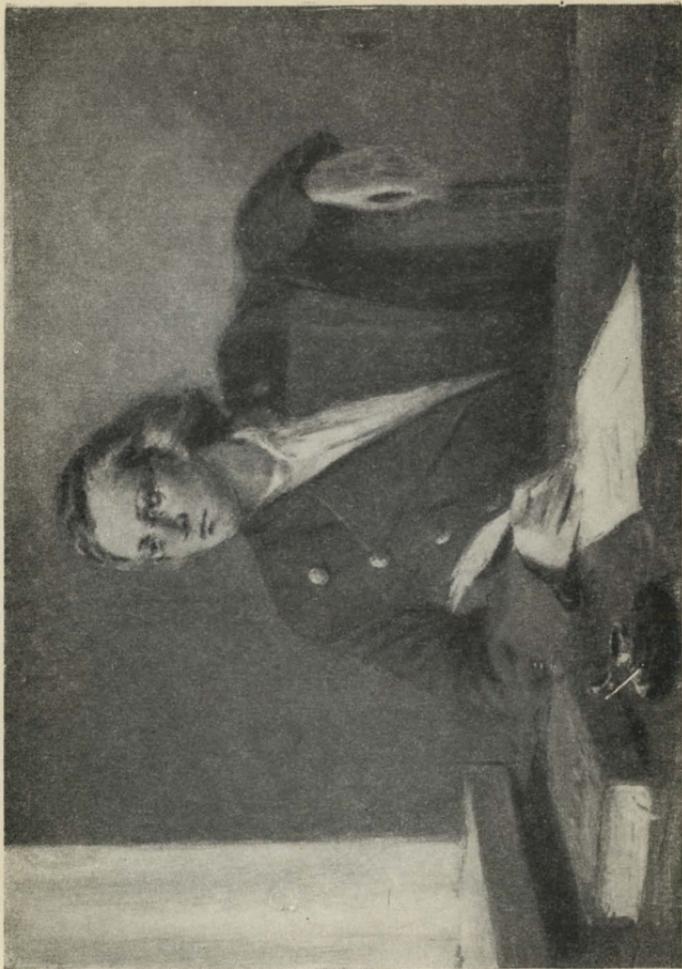
Эти строки прямо перекликаются с гневными тирадами автора «Что делать?» по поводу мечтаний Сторешникова о том, как он будет «обладать» Верочкою: «О грязь! О грязь! — «обладать», — кто смеет обладать человеком? Обладают халатом, туфлями. — Пустяки: почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-либо из вас, наши сестры; опять пустяки: какие вы нам сестры? — вы наши лакейки!..»

Он видел, что ложь до такой степени проникла во всю их жизнь, так слилась даже с лучшими их инстинктами, что они уже не могли освободиться от нее.

«Эти люди в сущности никого не любят, кроме нескольких, к которым бог знает почему привяжутся — потому что это брат и сестра, — да еще непонятная любовь, которая заставляет одну предполагать в жене, а другого в невесте половину своей души. Однако он мне кажется довольно порядочным эгоистом и любит ее менее, чем она его, хотя, может быть, ее любовь и проистекает от безделья и оттого, что он надел на нее чепец и вывел из-под власти маменьки и тетеньки... Нет, это не истинная любовь в моем смысле...»



Юноша Чернышевский на Волге. (С картины художника Ю. М. Казмичева.)



Чернышевский — студент Петербургского университета. (Рис. художника  
А. А. Хоменко.)

Тут мы находимся у самого, можно сказать, истока идей, которые позднее с захватывающей силой убеждения были развиты в романе «Что делать?», ставшем настольной книгой нескольких поколений революционеров.

Не только в «женском вопросе» расходился со своим сожителем Чернышевский, между ними все порождало споры. Хотя он и остерегался затевать их, считая это бесполезной тратой времени, однако порою все-таки не выдерживал и пускался в прения с Иваном Григорьевичем, который в его глазах осквернял все, что есть возвышенного в жизни.

На каждое явление ее они смотрели по-разному. Шла ли речь о семье, о государстве, о революции во Франции, о Гоголе, Лермонтове, Байроне или, наконец, о роли чиновничьей касты в России — всегда точки зрения их резко расходились.

Чернышевскому порядки крепостнической России представлялись диким пережитком. Терсинский же, как истый бюрократ, не выносил никаких мнений, задевавших основы того строя, верным слугой которого он считал себя.

— Я не люблю, — сказал он как-то за ужином Чернышевскому, — когда при мне непочтительно говорят о высших правительственных лицах. От этого разрушается издревле установленный государственный порядок, и дело доходит до того, что творится теперь во Франции.

— По-вашему, хоть палка, да начальник... Начальники слишком много на себя берут, позабыв, что не подчиненные для них, а они для подчиненных. Не правда существует для государства, а оно для правды...

И, оборвав разговор, Чернышевский принялся

раскладывать по алфавиту карточки со словами, выписанными из летописи Нестора.

На следующий день совершенно незаметно для обоих этот спор возобновился, как только Иван Григорьевич недоброжелательно заговорил об одном из саратовских чиновников.

— Он ничем не хуже других, — отозвался Чернышевский. — Большая часть занимающих места не имеет ни особых дарований, ни познаний, делающих их достойными занимать эти места. Большинство чиновников и правителей легко можно заменить: у нас не человек по уму достоин занимать место, а получил место, так оно и дает тебе ум или репутацию на ум.

Этим он вывел из терпения Терсинского, и тот раздраженно сказал:

— Однако этот спор ни к чему не поведет.

Через неделю противники снова схватились, заговорив о великих писателях.

— Коли Байрон пьяница, — сказал Терсинский, — так негодяй, как и всякий пьяница; всякий великий писатель — фигляр, между тем как правитель не то. («Правитель» был той печкой, от которой Терсинский всегда начинал танцевать.)

— Нет, это те, — горячо возразил Чернышевский, — о которых говорится: вы есте соль земли, это рука,двигающая рычагом... Если есть в них слабости, то не от тех причин, от которых обыкновенно бывают у нас: Байрон пил не потому, почему пьет другой человек.

— Вздор, — заявил Терсинский, — все одно, издали они кажутся велики, вблизи все равно, что мы. Они совершают непростительные ошибки, сея в народе мятежи и раздоры.

До глубины души оскорбило Чернышевского это мелкое, неумное суждение о великих писателях. Он не

на шутку разволновался и вспомнил, как однажды в детстве расплакался, вычитав где-то обвинение неблагодарному потомству, которое остается равнодушным к заслугам и подвигам богатырей, так много сделавших для общего блага.

«Теперь это же самое волнует меня: они наши спасители, эти писатели, как Лермонтов и Гоголь, а мы называем их фиглярами — жалкая, оскорбительная неблагодарность...»<sup>1</sup>

С Терсинским он спорил еще весьма осторожно, не развивая перед ним своих заветных мыслей. Иное дело — в среде университетских товарищей: там он чувствовал себя гораздо проще, говорил свободно и с большим жаром о революционных идеях.

Смутные вначале и отвлеченные стремления его к истине, добру и справедливости «вообще», теперь, по мере того как он все более «утверждался в правилах социалистов», начинали постепенно обретать живые очертания, облекаться в кровь и плоть, хотя с ними еще не окончательно спала пелена религиозных предрассудков. Он еще верит в Христа, преклоняется перед ним, но его религиозное чувство уже дало в это время заметную трещину.

Через несколько дней после спора с Терсинским Чернышевский сделал в дневнике первый «обзор своему положению за 2½ недели». Происходившая в нем душевная ломка была так интенсивна, что возникала необходимость подводить итоги за кратчайшие промежутки времени и намечать перспективы. В конце пер-

<sup>1</sup> Кстати, не говорит ли это слово «спасители» о том, что уже тогда Чернышевский был знаком с «Письмом к Гоголю» Белинского? Ведь именно там говорится, что публика видит в русских писателях своих «единственных вождей, защитников и *спасителей*» от русского самодержавия

вого обзора есть беглые признания Чернышевского о его тогдашних взглядах на религию и политику. Он признавался, что в области религии держится старого скорее по привычке и что оно (старое) как-то мало клеится с его другими понятиями. Словно оправдываясь перед уходящими иллюзиями, он пишет: «Блестнула мысль: «без религии нет общества», говорит Платон и мы за ним, — да ведь у него самого не было положительной религии, поэтому он под этим словом, конечно, разумел совокупность нравственных убеждений совести, естественную религию, а не положительную».

Семейный и семинарский груз еще тянул Чернышевского назад, но уже не мог остановить поступательного движения мысли, перед которой открывались широчайшие горизонты!

Сила привычки еще удерживала его от окончательного расставания с тлеющей верой. Иногда он предумышленно уклонялся от холодного анализа, ибо чувствовал, что конец веры близок.

«Сердце отстаёт, — говорит Герцен, — потому, что любит, и когда ум приговаривает и казнит — оно еще прощает».

На целых два года растянулся этот перелом, пока, наконец, чтение философов-материалистов не помогло Чернышевскому раз и навсегда освободиться от религиозных представлений и покончить с верой.

Рубежом окончательного перехода Чернышевского к материалистической философии был 1850 год. Предшествовавшие два года были подготовкой к этому переходу, этапом, на котором складывались общественно-политические убеждения будущего великого революционного демократа и просветителя.

«Другие понятия», которые тогда так плохо клеи-

лись с его отживающими религиозными представлениями, касались именно социалистических учений, постепенно овладевавших его сознанием.

От беглого чтения текущей прессы он переходит постепенно к изучению капитальных исторических работ и социалистической литературы, ища в них ответа на встававшие перед ним вопросы.

